



Улица, которую я любил

Рассказ

Он еще издали услышал шум моторов. Костя шел рядом и удивленными глазами разглядывал развалины. В его деревне этого не было. В деревне все оставалось прочным: соломенная крыша, прясло, бадья над колодцем.

Машина из-за угла гулко крутанула на площадь. Тупая, облупленная, отремонтированная морда, хорошая морда. А потом и другие пошли, груженные, к элеватору.

— Хлеб! — вздохнул Антон, вспомнив зыбучую тяжесть зерна на ладони.

— Хочу на машине! — буркнул сын, но это так, для характера. Экое дело — трехтонка!

Поедешь еще, думал Антон, дай срок! Для тебя грузовичок — так себе — каталка. А это, брат, жизнь. Уж если так все оборачивается, — значит, здорово люди жить хотят. И хотят, чтобы быстро все было — дома с электричеством, театры, магазины с добром. Оно ясно — невидная машина, старье, а дружно идут. И элеватор, гляди, всерьез сделали, не как-нибудь.

Они зашли на базарчик, который у вокзала. Сразу попался безногий в шинели — торговал папиросами. Прошли безногого — бабка сидит прямо на земле, одни гайки да шурупы перед ней, жестянки еще промышляет. К кучкам людей подвигаются бочком хитрые да осторожные людишки, прислушиваются, прицениваются. А иные под полой что-то прячут, сволочи. Кричала звонкая высокая баба: «Пирожки сдобные, вполне съедобные!» Дерьмо на сковородке. Нам бы хлеба! В сторонке жулье показывало фокусы со связанной ниткой — попади рукой, чтобы нитка на пальце

оказалась. И кругом ходили понурые собаки. Такое время сейчас — за любым побежит, только мосол покажи.

— Хочешь яблок? — спросил Антон. Костя — парень степенный. Посмотрел на корзинку, которая у бабки тряслась в руках.

— Ну их! — сказал. Потом объяснил, как отошли от корзины:

— Мне Гришка каждый день мог наполосовать яблок — завались! Только хлеба просил.

— Из колхозного сада яблоки-то небось?

— А то как же?!

А хлеба не было. Они обошли весь базар, подождали, не подойдет ли еще кто из торговков. Но, должно, такое время было трудное. Большая потребность определилась у людей — брюхо набить.

У Антона ныла култышка в пустом рукаве. К солдатскому поту, от которого солончаки остались на гимнастерке, подмешивался пот бездельный, нехороший.

Скрутил сигарку, орудуя правой, которую пуля пощадил, и еще култышкой помогал. Табачок есть, бабы пособили в деревне, как сынишку забирал. А не то пришлось бы с солдатиком безногим торговаться. Куда уж хуже, если на фронте задарма всем делился по-братски.

А вот теперь еще хлеба. Вез из деревни малость, да не больно долго он залеживается. Думал на станции разжиться, однако незаметно, чтобы повезло. Косте надо бы хлеба.

Сели на бугорочке у загородки, чтобы хоть как от солнца спрятаться. Костя босой ногой стал жука присыпать мусором, а жук все вылезал, козявка. Вот забота

парню нашлась, никакой еще думки нет. А потом, смотришь, и человек вырастет, с большой заботой будет жить. Пока, должно, не привык еще к отцу, не разговорчив. Плакал даже попервости, не хотел от тетки Полины уезжать.

Приказал себе Антон не думать пока про жену, так и сидел, не думал.

— В школу будешь ходить другим летом,— сообщил он сыну.— Как ты, а?

— Ну и ладно, — согласился Костя.

— Надо, брат. Дело такое — думать научишься.

— Я и так додельный, — рассудил Костя.

— Ишь ты! Думать будешь — новый картуз купишь.

Шумно сейчас живут на станции. Поездов много ходит, тупики теплушками забиты. И люди шумные. А степенный был поселок до войны. Поезда ходили вроде осторожней, телеги скрипели — тянулись, да машины когда.

Это хорошо, что шумно. Теперь на других оборотах надо жить. Хоть одной рукой, хоть на костылях, а во всю силу. Это в окопах думано-передумано, товарищам павшим обещано.

Конечно, к шоферскому делу ты уже без отношения, Антон. Култышка еще пальцы чувствует, вроде баранку держать может, да только фантазия это одна, а не рука. Однако голова на плечах есть и мыслишки не на холостом ходу вертятся.

— Может, без хлеба, сынок?

— А я что? Я могу — прикинул Костя.

Антон вытащил из сумки сверточек. Районного масштаба газетка, мало в ней съестного уместилось. А как стал газетку разворачивать, услышал позади себя машину. Не то чтобы с завистью, а с любопытства посмотрел, повернулся. «Оппель», ясное дело. Трофейный мотор, аккуратная штучка. Хотел было Антон поболтать с шофером через забор, чтобы послушать что, да увидал, как, дверцу приоткрыв, человек из машины стал пятиться. Спина и задница коверкотовые, но не в этом интерес. Антон вскочил, сверточек быстро, как позволила аккуратность, водворил в сумку, а Косте

приказал:

— Пойдем, поможем человеку!

Мигом вышли через калитку, и вот она и машина уже.

— Не надо ли помочь? — спросил Антон как бы равнодушно, а сам уже знал, что очень даже надо, и потому больше на начальника поглядывал, у которого работал до войны.

Коверкотовый посмотрел на пустой рукав безо всякого уважения, а потом на чемодан глянул. Лоб в поту весь — никак не обойтись без пятой руки.

— Дорого возьмешь? — спросил.

— Отвыкли мы от дорогого-то на фронте, — успокоил его Антон. И очень обидно ему стало, что не узнал начальник шофера своего, а премии не однажды вручал.

Обогнули вокзал, досками обшитый, и вышли к самой линии. А потом прикинули, где стоять второму вагону, и еще шли, шелуха от семечек под ногами потрескивала. А как остановились и поставил коверкотовый свои чемоданы, так и стал глядеть на Антона: я, мол, большекромым без потачки.

— Пойдем, Костя, — сказал Антон, будто и не видел, как начальник мелочь считает.

У начальника — Петром Петровичем звали его — рот самостоятельно открылся, а шофер — так тот посмеивался.

— Не хочешь? — пробовал испугать Петр Петрович, только Антон уже далеко ушел с Костей, и поезд в аккурат прибыл.

Я ведь обнять тебя хотел, мордovorot мурластый, а ты даже не признал. Нешто деньги мне нужны? Уж в любой избе можно бы попросить, если не вмоготу. Оно, конечно, и выпить бы можно было с горя, да то-то и оно, что с горя.

— Ну, что, где теперь есть-то будем? — спросил Костя даже обиженно.

Мужик растет, известное дело. Того как оторвешь от еды, так и обида тебе. И тонкий живот без еды не живет.

— Теперь уж до самой своей улицы дойдем, — глядишь, и жара меньше будет,— ответил отец и все дивился на

Костикову голову — курчавый, весь в Машу.

Разыскал он его в деревне, у тетки Полины. Всю войну разыскивал, потому как от поселка ничего не осталось, писем не от кого получать было. А как разыскал, сразу вот и приехал после госпиталя. Глухая деревенька, и Антон оттуда же родом. Костик в ту ночь голову с печки свесил, не узнал, выходит, только дивился на его пустой рукав, что под ремень был заправлен. Как увидел Антон курчавую голову, так и напиться ему захотелось. И напился, чтобы отошло немного. Четверней поехал. Да нет, где там — не отошло! Занозу в сердце водкой не вытравишь. Кабы увидела все это Маша, то сказала бы, что нехорошо. А то и вовсе не сказала бы ничего, только и после такого молчания приказал бы себе — хватит!

Редкостным человеком была Маша — спокойная, молчаливая. И не обидно было мужику делать, как она велит, потому что слова у нее от сердца шли.

Жили они душа в душу, и дивно было шоферу Антону Зуеву, как это можно от жены на других баб отвернуться. Бывало, соберется братва у элеватора и ну рассказывать, кого ущипнул да кому за пазуху заглянул. Известное дело — поцеловал куму, да и губы в суму. А Антону нечего было рассказывать. Покуривал всегда молча, не встревал в разговор.

Рассказать, так на смех подымут, как он Верку — соседку свою — вез до станции. Она в деревне, Верка-то, на свадьбе гуляла, а Антон мимо в аккурат ехал. Ну, посадил в кабину рядом с собой; а как отъехали от деревни, Верка просить стала — остановись, и все тут! «Зачем?» — спрашивает Антон. И время позднее. «Хочу, — говорит, — с тобой походить, поглядеть на походку любчика!»

Жене дома рассказал, а она прижалась к нему и шепчет: «Я ее понимаю. Трудно одной».

Работала она на станции кассиром, Маша, а все свободное время проводила в саду, с цветами. И чего там только у нее не было!

Дело прошлое — не очень-то любил

Антон эти ее занятия. Конечно, это хорошо — букет каждый раз на столе, и волосы Машины от цветов духмяные. Но только беспокойно было в доме от всяких тюльпанов и прочих. Бывало, вернется Антон из ночного рейса, ляжет в постель и тут — на тебе, приходят: «Уважь, Антон Степанович, нарежь букетик!» Вот и выходит — надо уважить, сон-то и разгуляется. А тут еще получился у Маши новый сорт тюльпана, и назвала она его по мужу «Антоном». Ладно уж, что от шоферов спасенья нет, — смеются, так еще Верка-соседка повадилась приходить. Придет, усядется, студодейная, посмотрит на букет и скажет: «Очень мне нравится «Антон»!» Маша — та только улыбалась, любимая, а Антон из себя выходил, грозился весь сад картошкой засадить.

— Пап, а что, сюда бомба угодила? — дернул Костя отца за пустой рукав.

Развалины. Кажись, они еще дымятся, а закроешь глаза — и мечутся перед глазами женщины и старухи с детьми на руках. Здесь на углу попыхивал до войны маслозавод — труба железная, высокая, с такой нахлобучкой. Проволокой крепилась труба-то. Должно, с первого раза и завалило ее. Люди, бывало, куда как ругали заводило — чадит на весь поселок, аж воротит. А сейчас заныло сердце у Антона, когда другой запах почуял — каленого камня, кореженого железа. Не выветрило его, не вымыло запах.

— Бомба, сынок...

Улица была до войны простенькой — два порядка домов, скамеечки у завалинок, гармошка ходит под окнами. А весной и крыш не было видно от дружной зелени.

— Бомба, сынок, такие дела...

А осенью надо было от слякоти пробираться вдоль забора по траве, которая хлюпала. Маша в последний день шла сзади, он подавал ей руку, когда надо было перепрыгнуть. А на руках у Маши Костя сидел курчавый. На вокзале среди вещевых мешков и слез бабьих ничего не сказала ему жена. Так молчаливой и запомнилась и вспоминалась на фронте — молчит, стоит с сыном.

Сына бомбы интересуют. Про пули

не спрашивает — мелочь. И то хорошо. Побежал прыгать по развалинам, забаву нашел. И того не помнит, как в гости сюда ходил к Смирновым. Хорошие были шабры. Сейчас только бурьян растет на глине да малина одичалая кое-где пробивается. Сына тринадцати лет застрелили у Смирновых немцы. Вот и выходит, что большое зло — пуля.

— Костя, иди поешь!

Дитя и есть дитя. У Кости аппетит на воле разыгрался. А у Антона на этой самой воле что-то в горле встало.

Вот и подошли. Не узнать своего дома. Обгорелый наличник торчит из груды кирпичей. Зеленая краска облупленная заметна еще хозяину.

Только на минуту присел Антон на обгорелый пенек — разыгрались нервы. А потом встал и, чтобы Косте ничего такого не думалось, прошел по тропинке несколько раз туда — назад. Совсем не надо это сыну внушать, рано еще. Не помнит он ничего, Костя, мал был тогда. Вот и хорошо. Вот и пусть себе поест да поозорует.

Костя справился скоро. Остатнее с газеты в ладонь переложил, а потом в рот отправил. Голова курчавая, плакать в нее хочется.

— Пап, и сюда угодила бомба?

— Должно, снаряд, сынок.

А сам точно знал, что снаряд, — Полина писала. Только сначала была пуля. В упор стрелял офицер. Никакой промашки. А потом уже был снаряд — считай, что перед концом войны. По пустому дому.

Сын пошел, руки в карманы, пятки потресканные видны. Худой весь — на картошке вырос. А справненький был тогда — у Маши до станции руки устали.

Боязно было Антону смотреть туда, где за грудой камней рос еще смородинник, да посмотрел все-таки и хоть ничего не увидел, пока сидел, а уже не мог оторвать взгляда. А когда встал и взобрался на эту грудку, так все и увидел. И побежал, неверно ступая на битые кирпичи, и сухие стебли оказались в его судорожном кулаке.

Плоский камень выглядывал из бурьяна, а под камнем да под бурьяном

земля слегка осела. Опустился Антон на колени и почувствовал, какая она острая — военная земля: колючки, битые кирпичи.

Любила Маша теплую постель, мерзлячка была. На первую полочку купил Антон пуховую перину, на машине привез. И одеяло было стеганое.

Наползали на могилу одуванчики, цикорий, лебеда и вокруг совсем заглушили за эти годы луговой мятлик, которым Маша засекала газоны. А клумбу немцы раскидали. Была клумба звездой сделана. Сначала староста пришел, из себя выходил. «У тебя, — кричал, — мы знаем — муж в армии. И сама от нас убежать хотела, да вовремя станцию отрезали. И еще звезду цветами разрисовала!»

Как с прошлого, довоенного года была клумба звездой, так и расцвела по весне пятью лучами. Увидал-таки староста, продажная шкура.

У Антона слезы бежали по щекам, непотай плакал Антон. Нагнулся, сорвал несколько голубых звездочек цикория да ромашки еще и положил на камень, который добрые люди поставили.

Офицер стрелял в упор. Никакой промашки. Она упала на клумбу, даже мертвая защищала ее. Похоронили тайком Машу в саду, камень незаметный поставили для памяти, а Костю-сироту Полина в деревню свезла.

Спасибо тебе, Маша, за все: за красоту твою ладную, за сына, который в тебя пойдет, за твои цветы на радость людям и за улицу, которую я любил, оттого что ты туда пришла однажды.

Набежала тучка — мало их, тучек-то, набегало в этом году, — и от этого пришел Антон в себя. Осмотрелся кругом — сумку искал. Вспомнил, что оставил ее там, у крашеного наличника.

Вот опять жизнь начинается. Времянки люди сделали, живут. Элеватор снова подняли, машины идут к элеватору. Дети растут, уже не пуганые. Русский человек будет все долго помнить, да не станет долго вспоминать. Пули, что застряли в костях, не дадут сидеть без дела.

Осмотрелся кругом Антон.

— Костя! — крикнул.